

Я

сидел в теплой нагретой комнате и смотрел в окно на питерский дворик. За окном была осень, конец сентября. По низкому серому небу спешили куда-то налитые влагой мрачные облака, в любую минуту готовые пролиться холодным дождем. На фоне глухой, обмытой дождями, когда-то желтой стены, сиротливо торчало одинокое деревце с почти облетевшей безжизненной листвой. Небольшие окна стоявшего напротив дома кое-где светились даже днем неярким искусственным светом.

Это был типичный питерский дворик-колодец, каких немало было на Ладейнопольской улице Петроградской стороны, где мы с моим дружкой по Горному институту Сеней Сидоровым, которого друзья звали просто Сидором, уже почти месяц снимали комнату.

Хозяйка нам попалась тихая, интеллигентная. Она нас не беспокоила и уж тем более не притесняла по пустякам в нашем скромном студенческом быту. Да она и сама жила скромнее некуда, как монашка. Звали ее Елизавета Александровна.

Квартирка у нее была крохотная, одно название, но зато отдельная. И это уже было хорошо. Маленькая прихожая, которая соседствовала с уборной, была одновременно и кухонькой. Потом следовала небольшая комната, в которой с трудом разместились стол, старый, хорошо поживший платяной шкаф, да полуторная кровать с никелированными спинками. На этой кровати мы и спали вдвоем с Сидором.

А сама баба Лиза, как мы ее звали, ютилась в смежной с нами махонькой каморке, в которой едва уместились ее лежанка да маленькая тумбочка.

Из первых же сорока рублей, которые мы заплатили ей за комнату, баба Лиза выкупила из ломбарда, что на Большой Пушкарской, свое старенькое зимнее пальтишко и повесила его в почти пустой шкаф.

— Если еще у меня поживете, так и все мои вещички перекочуют из ломбарда назад, в этот шкаф, доставшийся мне еще от бабушки, — довольно улыбаясь, сказала баба Лиза.

— Как же так можно, баба Лиза! — недоумевал Сидор. — Отнести туда самое необходимое? Зима на пороге, а вы без пальто.

— А что поделаешь, на пенсию мою не проживешь. Человек я тихий, без претензий, непрактичная... хорошо вот вы мне попались, помогли.

Я смотрел на ее преждевременно увядшее лицо, — ведь ей было чуть за шестьдесят. Но было в нем что-то, не часто встречающееся в людях вокруг: какое-то внутреннее достоинство, отсутствие этой крысиной хватки — схватить, унести к себе в норку и сожрать все, что можно, вокруг. И глаза под тяжелыми веками светились грустным, но ясным светом.

— И давно вы живете здесь, в этой квартирке? — как-то спросил я. Баба Лиза взглянула на меня, будто я ее чем-то испугал, и тяжело опустилась на стул.

— С этой квартиркой целая история получилась. — Она окинула нас с Сидором задумчивым, ушедшим далеко в себя взглядом и вздохнула: — Не люблю я об этом вспоминать, но коль вам интересно, могу рассказать... Случилось это в блокаду, в 1942 году. Что тут творилось, в городе, сил вспоминать нет... ну, да вы, конечно, и сами слышали. Жили мы с мужем и сыном Тимой, ему только четырнадцатый годок пошел... Так вот, квартира у нас была хорошая, на Мармустьерском, потом его почему-то Чкаловским проспектом назвали. Досталась она нам от моих родителей. Мебель была старинная, картины кое-какие, посуда, безделушки там всякие, дорогие сердцу с детства. Муж работал инженером на заводе, уважали его, а я, филолог по образованию, работала в книжном издательстве... Жили мы дружно, — она задумалась, вздохнула: — Теперь-то я понимаю, что это было настоящее человеческое счастье... Когда начался голод, мы держались в основном за счет карточек мужа. Но недолго... Первым умер Григорий... а за ним и сыночка нашего, Тимочку... я на санках сама на погост отвезла...

Баба Лиза отвернулась, вытерла руками мокрые щеки. Мы с Сидором затаились, боясь сказать что-то не так, напряженно вслушиваясь в горькие печальные слова, которые срывались, казалось, не с губ, а из глубины сердца этой утомленной жизнью женщины.

— Как я жила дальше я плохо помню, — чуть успокоившись, продолжала она. — Душа моя смерзлась, да и телу было не слаще, но я была безразлична ко всему. Смерть была не страшна, скорее желанна. Но все-таки я как-то выжила...

И вот однажды стук в двери. Открываю, на пороге стоит наш управдом, морда толстая, красная, глазки смотрят так доброжелательно. «Как вы тут поживаете, Лизавета Санна? — И залыбился, прошел в кухню, потом обошел всю квартиру и с удовольствием потер свои огромные ладони. — Да, квартира просторная, топить вы ее не сможете, закочуритесь здесь окончательно. Вот что, Лизавета Санна, так и быть, помогу я вам, как говорится, по-христиански. Давай сделаем так. Вы возьмите с собой самое необходимое, а я вам маленькую квартирку приглядел, тут поблизости. Перезимуете там, я вам и dro-вишек подброшу. А как потеплеет, переберетесь назад, в свою квартиру».

Я особо не сопротивлялась. Поглядели эту квартирку. Стоит почти пустая. Хозяева, пока живы были, пожгли, что горело, чтоб не замерзнуть. Остальное лихие люди растащили. Управдом подогнал машину, помог мне перевезти самое необходимое. Все остальное осталось в нашей квартире. Управдом ее опечатал и сказал: «Не переживай, все будет в целости и сохранности».

Кое-как пережила я зиму в чужой квартире, и все чудилось по ночам, что старые хозяева бродят по дому...

Наконец, пришла весна! Отправилась я на Мармустьерский поглядеть свою квартиру. Поднимаюсь по ступенькам на свой этаж, а сердце так и стучит: давно я так не радовалась! Вот и наша дверь, смотрю, печати никакой нет. Как же так? Достала из сумки ключ, сую его дрожащими руками в замок, а он никак не лезет. Вдруг дверь открывается, и на пороге появляется незнакомый мужчина в пижаме... а пижама-то на нем мужа моего, Григория, я сразу узнала.

— Вы кто такой, — спрашиваю, — и что вы здесь делаете в моей квартире?

А он ухмыльнулся так уверенно и говорит:

— Это не ваша квартира, а моя. У меня и документы на нее есть. А если будете надоедать, то я найду на вас управу!

И захлопнул дверь у меня перед носом.

Я схватилась, да к управдому. Он сделал изумленное лицо.

— Не может этого быть! Это какое-то недоразумение. Я во всем разберусь, а ты, Лизавета Санна, иди и не переживай.

И стала я ждать-пождать, но все тихо, никто ко мне не идет. Я снова к управдому. Он говорит, не переживай, скоро выселят этого нахала из вашей законной квартиры.

Баба Лиза замолчала. Потом поглядела на нас грустными глазами.

— Вот с тех пор я и живу в этой квартирке, уже, считай, двадцать годков с лишком.

Мы с Сидором переглянулись.

— Как же так, Елизавета Александровна! — возмутился Сидор. — Это ж неприкрытый грабёж. Как это стало возможно, а власти наши где?

— Не знаю. Куда я ни ходила, куда ни обращалась, везде мне говорили, что разберутся. В результате и квартира, и все, что досталось мне от родителей, даже любимые детские игрушки Тимочки — все, все пропало, досталось чужим людям. А мне хоть эта квартирка осталась, большинство людей вообще до сих пор в коммуналках живут. — Она замолчала, потом продолжила отрешенно: — Я часто думаю: зачем меня тогда Господь не прибрал вместе с мужем и сыном, зачем оставил здесь, среди этих... людей. И сколько мне еще мучиться здесь, не знаю. Хоть бы быстрее уж отправиться туда, к ним, к мужу и сыночку.

Я смотрел на Елизавету Александровну, слушал ее печальный, казавшийся неправдоподобным рассказ, и отчетливо вспомнил, как много видел я таких вот старушек, тихих, незаметных, одетых скромно, если не сказать бедно. Они попадались на глаза и в трамваях, и в продовольственных магазинах, и на улице. Приходилось мне бывать и в ломбардах, которых почему-то немало расплодилось в Питере. И там они были, наверное, основными клиентами: сидят рядом на лавке вдоль стены и тихонько разговаривают о чем-то своем. Вот они, эти неприметные пожилые женщины, и есть питерские блокадницы, живущие незаметно, будто теньями скользя в сторонке от кипящей вокруг жизни...

И мне стало горько и стыдно. Стыдно за свою развеселую жизнерадостность, за молодость свою, которая не желает замечать ничего вокруг, кроме самой себя.